Глас Господа

Автор:
Станислав Лем

Глас Господа

Станислав Герман Лем

Эксклюзивная классика (АСТ)

Пустыня Невада – бесплодная земля, камни и песок. И подземный исследовательский центр – секретный проект Пентагона по расшифровке послания иной цивилизации. В команде специалистов, привлеченных к работе, выдающийся математик, профессор Хогарт, человек, призванный сдвинуть зависший проект с мертвой точки.

Кто же они – те, что живут за сотни и тысячи световых лет от нас? Способны ли мы понять ПОСЛАНИЕ, ничего не зная об отправителях? И что принесет человечеству загадочная субстанция, созданная на основе информации, «вычитанной» из звездного кода, – невероятный скачок прогресса или неведомую опасность?

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Станислав Лем

Глас Господа

Stanislaw Lem

GLOS PANA

Печатается с разрешения наследников Станислава Лема и Агентства Andrew Nurnberg Associates International Ltd.

Серия «Эксклюзивная классика»

© Stanislaw Lem, 1968

© Перевод. К. Душенко, 2016

© Перевод. Р. Нудельман, 2016

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

* * *

От публикатора

Эта книга представляет собой публикацию рукописи, обнаруженной в бумагах покойного профессора Питера Э. Хогарта. К сожалению, выдающийся ученый не успел завершить и подготовить к печати книгу, над которой долгое время работал. Помешала одолевшая его болезнь. О работе этой, для него необычной и предпринятой не столько по собственному желанию, сколько из чувства долга, покойный профессор говорил неохотно даже с близкими людьми (к которым я имел честь принадлежать), поэтому при подготовке рукописи к печати появились спорные вопросы. Должен признать, что некоторые из ознакомившихся с текстом выступали против публикации, которая будто бы не входила в намерения покойного. Он, однако, не оставил какого-либо письменного свидетельства в этом духе, так что возражения подобного рода лишены оснований. В то же время было очевидно, что рукопись осталась незавершенной, заглавие отсутствует, а один из разделов – то ли вступление, то ли послесловие к книге – существует только в черновике. Будучи, как коллега и друг покойного, наделен по завещанию полномочиями, я решил в конце концов

сделать этот фрагмент, весьма существенный для понимания целого, введением к книге. Название «Глас Господа» предложил издатель, мистер Джон Ф. Киллер; пользуясь случаем, хочу выразить ему признательность за внимание, проявленное им к последнему труду профессора Хогарта, а также поблагодарить миссис Розамонду Т. Шеллинг, которая согласилась участвовать в подготовке книги к печати и взяла на себя окончательную правку текста.

Профессор Томас В. Уоррен,

Отделение математики, Вашингтонский университет, Вашингтон, округ Колумбия,

Апрель 1996 года

Предисловие

Многие читатели будут неприятно поражены моими словами, однако я считаю своим долгом высказаться. Книг подобного рода мне еще не приходилось писать; а так как среди математиков не принято предварять свои труды излияниями на личные темы, раньше я обходился без таких излияний.

По не зависящим от меня обстоятельствам я оказался вовлеченным в события, которые собираюсь тут описать. Причины, побудившие меня предварить изложение чем-то вроде исповеди, станут ясны позже. Чтобы говорить о себе, нужно выбрать какую-либо систему соотнесения; пусть ею будет моя недавно изданная биография, принадлежащая перу профессора Гарольда Йовитта. Йовитт именует меня мыслителем высшего класса, так как я всегда выбирал самые трудные проблемы из тех, что вставали перед наукой. Он отмечает, что мое имя всегда появлялось там, где речь шла о коренной ломке прежних научных воззрений и создании новых, например, в связи с революцией в математике, с физикализацией этики, а также с Проектом ГЛАГОС. Дочитав до этого места, я ожидал вслед за словами о моих разрушительных наклонностях дальнейших, более смелых выводов. Я подумал, что дождался наконец настоящего биографа, что, впрочем, вовсе меня не обрадовало, ведь одно дело – обнажаться самому, и совсем другое – когда тебя обнажают. Однако Йовитт, словно испугавшись собственной проницательности, затем возвращается

(весьма непоследовательно) к ходячей трактовке моей персоны – как гения столь же трудолюбивого, сколь и скромного, и даже приводит несколько подходящих к случаю анекдотов. Поэтому я преспокойно отправил его книгу на полку, к другим моим жизнеописаниям; откуда мне было знать, что вскоре я раскритикую льстивого портретиста? Заметив, что места на полке осталось немного, я вспомнил, как когда-то сказал Айвору Белойну: я, мол, умру, когда она будет заставлена вся. Он принял это за шутку, а между тем я выразил свое неподдельное убеждение, вздорность которого ничуть не уменьшает его искренности. Итак – возвращаюсь к Йовитту, – мне еще раз повезло или, если угодно, не повезло, и на шестьдесят втором году жизни, поставив на полку двадцать восьмой опус, посвященный моей особе, я остаюсь совершенно непонятым. Впрочем, имею ли я право так говорить?

Профессор Йовитт писал обо мне согласно канону, не им установленному. Не на всех известных людей позволяется смотреть одинаково. Скажем, считается вполне допустимым выискивать человеческие слабости у знаменитых художников и артистов, и некоторые биографы, похоже, даже считают, что душа артиста не должна быть чужда мелких подлостей. Но в отношении великих ученых все еще действует прежний стереотип. В людях искусства мы уже научились видеть душу, прикованную к телу; литературоведу позволено говорить о гомосексуализме Оскара Уайльда, но трудно представить себе науковеда, который под тем же углом взглянул бы на создателей физики. Нам подавай непреклонных, безгрешных ученых, а исторические перемены в их биографии сводятся к перемене мест пребывания. Политик может оказаться мерзавцем, оставаясь великим политиком, но гениальный мерзавец – это внутреннее противоречие: гениальность перечеркивается подлостью. Так гласит все еще не отмененный канон.

Группа психоаналитиков из Мичигана пыталась, правда, с этим поспорить, но впала в грех тривиальности. Присущую физикам склонность к теоретизированию эти исследователи выводили из сексуальных комплексов. Психоанализ обнаруживает в человеке скотину, оседланную совестью, а такая езда – хуже некуда. Скотине под благочестивым ездоком неудобно, но не лучше и ездоку: ему ведь нужно не только обуздать ее, но и сделать невидимой. Теория, согласно которой мы прячем в себе старого зверя, оседланного новым разумом, – просто мешанина примитивнейших мифов.

Психоанализ возвещает истину инфантильным, то есть школярским, манером: он безжалостно и торопливо сообщает нам вещи, которые нас шокируют, тем

самым заставляя принять их на веру. Упрощение, даже если оно соприкасается с правдой, нередко неотличимо от лжи – и это как раз такой случай. Нам еще раз показали демона и ангела, бестию и бога, сплетенных в манихейском объятии, и человек еще раз признал себя невиновным – как арену борьбы двух сил, которые заполонили его и делают с ним что хотят. Словом, психоанализ – это школярство взрослых людей. Мол, скандалы и безобразия раскрывают нам человека; вся драма существования разыгрывается между свиньей и сублимированным существом, в которое пытается превратить человека культура.

Так что профессор Йовитт скорее заслуживает благодарности за то, что он не пошел по стопам мичиганских психологов и остался в рамках классического стиля. Я не намерен говорить о себе лучше, чем говорили бы они, но есть все же разница между карикатурой и портретом.

Я не считаю, правда, что человек, сделавшийся объектом биографических исследований, знает себя лучше, чем его биографы. Их положение выгоднее: все неясное они могут объяснять недостатком сведений, заставляя тем самым предположить, что их герой, будь он жив и захоти он того, мог бы предоставить все недостающие данные. Однако он не располагает ничем, кроме неких гипотез о самом себе, которые могут представлять интерес как творения его ума, но не обязательно как недостающие звенья его биографии.

Собственно говоря, при достаточной фантазии каждый из нас мог бы написать не одну, а несколько собственных биографий, и получилось бы множество, объединенное только одинаковостью фактографических данных. В молодости даже умные (хотя, по недостатку опыта, наивные) люди не видят в этой мысли ничего, кроме цинизма. Они ошибаются: тут перед нами не проблема морали, а проблема познания. Разнообразие верований, которые человек исповедует по отношению к себе самому – в разные периоды своей жизни, а то и одновременно, – нисколько не меньше разнообразия верований метафизических.

Поэтому я не утверждаю, будто смогу дать читателю нечто большее, нежели представление о самом себе, которое начало складываться у меня лет сорок назад; его единственной оригинальной чертой я считаю то, что оно для меня нелестно. Но эта нелестность не сводится к «срыванию маски» – единственному приему в арсенале психоаналитика. Сказав, к примеру, о гении, что в нравственном отношении он был свиньей, мы вовсе не обязательно затронем его самое больное место. Мысль, «достигающая потолка своей эпохи», как выражается Йовитт, не почувствует себя задетой подобным диагнозом. Для

самого гения позором может быть тщетность его интеллектуальных усилий, осознание зыбкости всего совершенного им. Гениальность есть вечное сомнение, сомнение прежде всего. Но ни один из великих не устоял перед давлением общества, ни один не разрушил памятников, которые ему воздвигались при жизни, а значит, и не подверг сомнению себя самого.

Если я, как особа, за гениальность которой поручились несколько десятков ученых биографов, могу хоть что-то сказать о высших взлетах человеческого духа, так это лишь то, что духовное озарение – лучезарная точка в безбрежном пространстве мрака. Гений – не столько собственно свет, сколько постоянная готовность видеть окружающий мрак; нет для него трусости горшей, чем купаться в собственном блеске и, покуда это возможно, не заглядывать в темноту. Сколько бы ни было в нем действительной силы, всегда остается немалая часть, которая служит лишь ее имитацией.

Главенствующими чертами своего характера я считаю трусость, злобность и высокомерие. Так вышло, что эта троица имела к своим услугам кое-какой талант, который завуалировал ее и, по видимости, переиначил; а помог в этом ум, одно из самых удобных орудий для маскировки, в случае надобности, наших природных изъянов. Вот уже сорок с лишним лет я веду себя как человек отзывчивый и скромный, чуждый профессиональной спеси – потому что я очень долго и упорно приучал себя к этому. С раннего детства, сколько я себя помню, мною руководило стремление к злу – о чем я, разумеется, не догадывался.

Моя тяга к злу была изотропной и совершенно бескорыстной. В местах почитаемых – особенно в церкви – или в присутствии наиболее почтенных людей я любил размышлять о запретном. То, что размышления эти были ребяческими и смешными, совершенно не важно. Просто я ставил эксперименты в масштабе, который тогда был мне доступен. Не помню, когда я впервые приступил к таким опытам. Помню только щемящую скорбь, гнев, разочарование, которые потом годами преследовали меня, когда оказалось, что голову, переполняемую дурными помыслами даже здесь, в соседстве таких людей, не поражает молния, что отпадение от должного порядка бытия не влечет за собой никаких, решительно никаких последствий.

Я – если можно сказать так о малолетнем ребенке – жаждал этой карающей молнии или еще какого-нибудь ужасного наказания, какого-нибудь возмездия, я призывал его – и возненавидел мир, в котором существую, за то, что он доказал мне тщетность всяких – а стало быть, и дурных – помыслов. Поэтому я никогда

не мучил ни животных, ни даже растения, зато стегал камни, песок, измывался над вещами, тиранил воду и мысленно разбивал звезды вдребезги, чтобы наказать их за полнейшее равнодушие ко мне, – и злоба моя становилась тем бессильней, чем яснее я осознавал, насколько все это смешно и глупо.

Несколько позже я начал воспринимать это свое состояние как мучительное несчастье, с которым ничего не поделаешь, поскольку оно ничему не служит. Я сказал, что злость моя была изотропной; но прежде всего она устремлялась на меня самого; мои руки, ноги, мое отражение в зеркале так раздражали меня, как обычно раздражают и злят только посторонние люди. Немного повзрослев, я решил, что так жить невозможно; еще позже определил, каким я, собственно, должен быть, и с тех пор старался держаться – не всегда достаточно последовательно – выработанной однажды программы.

С точки зрения морального детерминизма в автобиографии, которая начинается с упоминания о прирожденной трусости, злобности и высокомерии автора, имеется логический просчет. Ведь если признать, что все в нас предопределено, то предопределено было и мое сопротивление злу, таящемуся у меня в душе, а вся разница между мной и теми, кто лучше меня, сводится лишь к различию побуждений. Другим ничего не стоит делать добро – они просто следуют своим естественным склонностям; а я действовал вопреки своей натуре, как бы искусственно. Но я же сам и приказывал себе так поступать – значит, в конечном счете был предназначен к добру. Демосфен вложил себе камушек в рот, чтобы побороть заикание, а я вложил в свою душу железо, чтобы ее выпрямить.

Но это уподобление как раз и показывает всю абсурдность детерминизма. Граммофонная пластинка, на которой запечатлено ангельское пение, в нравственном отношении ничуть не лучше, чем та, на которой записан звериный рев. С точки зрения детерминизма тот, кто хотел и мог стать лучше, был обречен на это заранее, и точно так же была предрешена судьба того, кто хотел, но не смог – или даже не пытался – захотеть. Заключение это ложно; звуки борьбы, записанные на пластинке, совсем не то, что борьба реальная. Зная, чего мне это стоило, я могу утверждать, что мои-то усилия не были мнимыми. Просто детерминизм говорит о другом; величины, которыми оперирует физик, тут непригодны, и перевод преступления на язык амплитуды атомных вероятностей не равнозначен его оправданию.

В одном Йовитт, пожалуй, прав: я всегда искал трудностей и обычно не давал воли своей врожденной злобности – это было бы слишком легко. Пускай это

выглядит странно и даже нелепо, но поступал я так не потому, что перебарывал в себе склонность ко злу ради добра как более высокой ценности, – напротив, как раз тогда я во всей полноте ощущал в себе присутствие зла. Мне важен был баланс усилий, не имевший ничего общего с простой арифметикой морали. Ей-богу, не знаю, что бы стало со мной, окажись первичным свойством моей натуры склонность к совершению добрых поступков: как и обычно, попытка постичь себя в ином облике, нежели тот, что тебе дан, вступает в противоречие с законами логики и терпит крах.

Один только раз я не отстранился от зла; это воспоминание связано с долгой и ужасной предсмертной болезнью матери; я любил мать и вместе с тем жадно и зорко следил, как ее разрушает недуг. Мне было тогда девять лет. Она, воплощение душевного спокойствия, силы, прямо-таки величественной гармонии, лежала в агонии, затянувшейся и затягиваемой врачами. Здесь, у ее постели, в затемненной, пропитанной запахом лекарств комнате, я еще сдерживался, но однажды, выйдя от нее и видя, что вокруг никого нет, скорчил радостную гримасу в сторону спальни, а так как этого мне показалось мало, помчался к себе и, запыхавшись, скакал перед зеркалом со стиснутыми кулачками, строя рожи и хихикая от щекочущего удовольствия. От удовольствия? Я хорошо понимал, что мать умирает, и целые дни проводил в отчаянии ничуть не менее искреннем, чем это с трудом подавляемое хихиканье. Оно – я помню прекрасно – ужаснуло меня, но оно же вывело меня за пределы обычного порядка вещей, и этот прорыв был поразительным откровением.

Ночью, в постели, один, я пытался понять случившееся, но это было мне не по силам; и вот, искусно нагнетая жалость к себе самому и к матери, я довел себя до слез – и уснул. Должно быть, слезы я счел искуплением. Но дни шли за днями, я подслушивал все более печальные новости, которые врачи сообщали отцу, и все повторялось сызнова. Я боялся идти к себе, боялся оставаться один. Так что первым человеком, которого я испугался, был я сам.

После смерти матери я впал в отчаяние – детское, не отягощенное душевными угрызениями. Грозные чары развеялись вместе с ее последним вздохом. И тогда же развеялся страх. Все это настолько темно, что я могу лишь строить догадки. Я наблюдал крушение абсолюта, обернувшегося иллюзией, противоборство постыдное и непристойное, – совершенство расползалось в этой борьбе, как гнилое тряпье. Порядок вещей был растоптан, и, хотя люди, стоявшие выше меня, предусмотрели особые ухищрения даже для столь мрачных случаев, эти уловки не стыковались с происходящим. Невозможно с достоинством и

изяществом кричать от боли (от наслаждения – тоже). В неопрятности умирания я почувствовал правду. Быть может, то, что вторглось в обыденность, я признал более сильной стороной: она побеждала, поэтому я к ней и примкнул.

Мой тайный смех… неужели я просто смеялся над страданиями матери? Но нет: ее страданий я лишь боялся – и только, они неизбежно сопутствовали умиранию, это я мог понять и, если бы мог, освободил ее от боли, ведь мне не нужны были ни ее страдания, ни ее смерть. К реальному убийце я бросился бы, плача и умоляя его, как всякий ребенок, но никакого убийцы не было, и все, что я мог, – это вбирать в себя коварство неведомо кем причиняемых мук. Ее опухшее тело превращалось в чудовищную карикатуру на себя самое; оно подвергалось глумлению и от этого глумления корчилось. Мне оставалось либо погибать вместе с ней, либо смеяться над нею, и я – из трусости – выбрал предательский смех.

Не поручусь, что так оно все и было. Первый приступ хихиканья случился со мной, когда я увидел разрушение тела; я, возможно, так и не познал бы этого ощущения, если бы мать ушла из жизни как-нибудь благолепнее, скажем, тихо заснула: смерть в такой ее форме мы готовы принять.

Но случилось иначе, и я, вынужденный верить собственным глазам, оказался вдруг беззащитным. В прежние времена хор причитальщиц вовремя заглушил бы стоны умирающей; но вырождение культуры свело магические ритуалы до уровня парикмахерского искусства: я подслушал, как хозяин похоронного заведения предлагал отцу на выбор различные выражения лица, в которые он берется переделать посмертную судорожную гримасу. Отец тогда вышел из комнаты, и во мне шевельнулось ощущение солидарности: я его понял. Позже я думал об этой агонии несчетное множество раз.

Версия смеха как предательства кажется мне недостаточной. Предательство совершается ради чего-то, но почему разрушение так для нас притягательно? Какая грозная надежда просвечивает из его черноты? Его абсолютная бесцельность заранее опровергает любое рациональное объяснение. Всевозможные культуры напрасно пытались искоренить эту ненасытную страсть. Она дана нам столь же безусловно, как и наша двуногость. Тому, кто отвергает сознательно творящую первопричину, будь то в облике Провидения или в облике Сатаны, остается лишь рациональный суррогат демонологии – статистика. И вот от затемненной комнаты, пропитанной запахом тления, тянется ниточка к моей математической теории антропогенеза; формулами

стохастики я пытался снять омерзительное заклятие. Но и это всего лишь догадка, защитный рефлекс разума.

Знаю: все здесь написанное можно обратить в мою пользу, чуточку сместив акценты, – и будущий биограф постарается это сделать. Он докажет, что с помощью разума я героически обуздал свой характер, а хулил себя ради самоочищения. Это значило бы следовать Фрейду; Фрейд стал Птолемеем психологии, так что каждый может теперь толковать людские феномены, громоздя эпициклы на эпициклы; эта конструкция нам близка, потому что красива. Идиллию он заменил гротеском, оперу – трагикомедией, не ведая, что остается рабом эстетики.

Пускай мой посмертный биограф не хлопочет: в апологиях я не нуждаюсь и мои рассуждения продиктованы любопытством, а не чувством вины. Я хотел понять – только понять, ничего больше. Ведь бесцельность зла – единственная опора, которую находит в нас богословская аргументация; теодицея объясняет нам, откуда взялось это свойство, в котором Натура и Культура одинаково неповинны. Разум, постоянно погруженный в материю гуманитарного опыта, а стало быть, антропоцентричный, может в конце концов решить, что Творение – жутковатая шутка.

Мысль о Создателе, который попросту забавлялся, весьма привлекательна, но тут мы входим в порочный круг: мы готовы счесть Творца злонамеренным не потому, что он сотворил нас такими, а потому, что сами мы злонамеренны. А ведь если человек так ничтожен, так неприметен перед лицом Мироздания, как об этом говорит нам наука, то манихейский миф – очевидная несообразность. Скажу иначе: если мир действительно сотворен (чего я, впрочем, не допускаю), необходимый для этого уровень знаний несовместим с туповатыми шутками. Ибо – в этом, собственно, и состоит мое кредо – нет и не может быть идеально мудрого зла. Разум говорит мне, что Творец не может быть мелким пакостником, иллюзионистом, который подсмеивается над тем, что творит. То, что мы принимаем за злонамеренность, – возможно, обычный просчет, ошибка; но тогда мы приходим к еще не существующей теологии ущербных божеств. А область их созидательной деятельности – та же самая, в которой творю я сам, то есть вероятностная статистика.

Любой ребенок бессознательно совершает открытия, из которых выросли статистические вселенные Гиббса и Больцмана; действительность предстает перед ним океаном возможностей, которые возникают и обособляются очень

легко, почти самопроизвольно. Ребенка окружает множество виртуальных миров, ему совершенно чужд космос Паскаля – этот окоченелый, размеренный, движущийся, как часовой механизм, труп. Позже, в зрелые годы, первоначальное богатство выбора уступает место застывшему порядку вещей. Если мое изображение детства покажется односторонним (хотя бы потому, что своей внутренней свободой ребенок обязан неведению, а не выбору), то ведь и любое изображение односторонне.

От первоначального богатства воображения я унаследовал кое-какие остатки – устойчивое неприятие действительности, похожее скорее на гнев, чем на отрешенность. Уже мой смех был протестом едва ли не более действенным, чем самоубийство. Я признаюсь в этом теперь, в шестьдесят два года, а математика была лишь позднейшим следствием такого взгляда на мир. Она была моим вторым дезертирством.

Я выражаюсь метафорически, – но прошу меня выслушать. Я предал умиравшую мать, то есть всех людей сразу: засмеявшись, я сделал выбор в пользу силы более могущественной, чем они, хотя и омерзительной, потому что не видел иного выхода. Но потом я узнал, что невидимого противника, который вездесущ и который свил себе гнездо в нас самих, тоже можно предать, хотя бы отчасти, поскольку математика не зависит от реального мира.

Время показало мне, что я ошибся еще раз. По-настоящему выбрать смерть против жизни и математику против действительности нельзя. Такой выбор, будь он настоящим, означал бы самоуничтожение. Что бы мы ни делали, мы не можем порвать с действительностью, и опыт подсказывает, что математика – тоже не идеальное убежище, потому что ее обитель – язык. А это информационное растение пустило корни и в мире, и в человеке. Такие мысли с юности посещали меня, хотя тогда я еще не мог изложить их на языке доказательств.

В математике я искал того, что ушло вместе с детством, – множественности миров, возможности отрешиться от навязанного нам мира, отрешиться с такой легкостью, словно нет в нем той силы, что прячется и в нас самих. Но затем, подобно всякому математику, я с изумлением убеждался, до чего потрясающе неожиданна и неслыханно многостороння эта деятельность, вначале похожая на игру. Вступая в нее, ты гордо, открыто и безоговорочно обособляешь свою мысль от действительности и с помощью произвольных постулатов, категоричных, словно акт творения, замыкаешься в терминологических границах, призванных изолировать тебя от суетного скопища, в котором приходится жить.

Но именно этот отказ, этот полный разрыв и раскрывает нам сердцевину явлений; побег оборачивается завоеванием, дезертирство – постижением, а разрыв – примирением. Мы с удивлением замечаем, что бегство было мнимым и мы вернулись к тому, от чего убегали. Враг, сбросив старую кожу, предстает перед нами союзником, мы удостаиваемся очищения, мир молчаливо дает нам понять, что преодолеть его можно лишь с его помощью. Так усмиряется страх, оборачиваясь восхищением, – в этом необыкновенном убежище, из глубин которого открывается выход в единое пространство мироздания.

Математика не выражает, не раскрывает человека так, как любой другой вид деятельности: степень развоплощения, достигаемая благодаря ей, не сравнима ни с чем. Интересующихся отсылаю к моим работам. Здесь скажу лишь, что мироздание запечатлело свои законы в человеческом языке при самом его зарождении; математика дремлет в каждом наречии, ее можно открыть, но не изобрести.

То, что в ней составляет крону, невозможно отделить от корней; ведь возникла она не за три или восемь последних столетий, а в течение долгих тысячелетий языковой эволюции, на поле упорной борьбы человека с его окружением. Она возникает из между-людья и между-речья. Язык настолько же мудрее любого из нас, насколько наше тело лучше нас самих ориентируется во всех деталях протекающего в нем жизненного процесса. Мы еще не исчерпали наследия этих двух эволюций – живой материи и информационной материи языка, – а уже мечтаем выйти за их пределы. Возможно, все сказанное здесь – заурядное философствование, но этого никак не скажешь о моих доказательствах в пользу языкового происхождения математических понятий (которые, стало быть, не являлись лишь следствием перечислимости предметов и изобретательности ума).

Причины, по которым я стал математиком, наверно, сложны, но одной из главных были мои способности, без которых я добился бы не больших успехов, чем горбун в легкой атлетике. Не знаю, сыграл ли роль в той истории, которую я собираюсь рассказать, мой характер – а вовсе не способности, – но не исключаю и этого: масштаб событий позволяет мне отрешиться и от гордости, и от застенчивости.

Мемуаристы обычно решаются на предельную искренность, если считают, что могут рассказать о себе нечто неслыханно важное. Я, напротив, искренен

потому, что моя личность в данном случае абсолютно несущественна; иначе говоря, к откровенности, вообще-то несносной, меня побуждает только неумение различить, где кончается статистический каприз, определивший склад моей личности, и где начинается видовая закономерность.

В науке существуют реальные знания и знания, создающие духовный комфорт; они не обязательно совпадают. В науках о человеке различение двух этих видов почти невозможно. Мы ничего не знаем так скверно, как самих себя, – не потому ли, что, пытаясь узнать, и узнать достоверно, что именно сформировало человека, мы заранее исключаем возможность сочетания глубочайшей необходимости с нелепейшими случайностями?

Когда-то я разработал для одного из своих друзей программу эксперимента, состоявшего в том, что цифровая машина моделировала поведение семейства нейтральных существ – неких гомеостатов, которые познают окружающую среду, не обладая в исходном состоянии ни «этическими», ни «эмоциональными» свойствами. Эти существа размножались – разумеется, в машине, то есть размножались, как сказал бы профан, в виде чисел, – и несколько десятков поколений спустя во всех «особях» каждый раз возникала непонятная для нас особенность поведения – некий эквивалент агрессивности. Мой приятель, проделав трудоемкие – и бесполезные – контрольные расчеты, принялся наконец проверять – просто с отчаяния – все без исключения условия опыта. И оказалось, что один из датчиков реагировал на изменения влажности воздуха; они-то и были неопознанной причиной отклонений.

Вот и сейчас я все думаю об этом эксперименте: что, если социальный прогресс вытащил нас из звериного царства и вознес по экспоненте – совершенно не подготовленными к такому взлету? Образование социальных связей началось, как только человеческие атомы обнаружили минимальную способность к сцеплению. Они были сырьем, прошедшим лишь первичную биологическую обработку, удовлетворяли чисто биологическим критериям, а неожиданный «пинок вверх» вырвал нас из привычной среды и вынес в пространство цивилизации. Разве при этом взлете биологический материал не мог запечатлеть в себе следы случайностей, подобно глубоководному зонду, который, опустившись на дно, кроме рыб и моллюсков захватывает всякий случайный хлам? Я вспоминаю отсыревающее реле в безотказной цифровой машине. Так почему же процесс, который породил нас на свет, должен – в каком бы то ни было отношении – быть идеальным? А между тем мы (как и наши философы) не смеем предположить, что безусловность и единственность

существования нашего вида вовсе не означают, будто его породило само совершенство. Это так же невероятно, как и то, что само совершенство стояло у колыбели любого из нас.

И что любопытно: признавая несовершенство нашего вида, ни одна из религий не решилась признать его тем, что оно есть в действительности, – результатом действий, сопряженных с ошибками. Напротив, едва ли не все они объясняют несовершенство человека противоборством двух одинаково совершенных демиургов, которые друг другу вредили. Светлое совершенство сразилось с темным, и возник человек; так гласит их кредо. Мое объяснение, быть может, примитивно, – но только если оно ложно, а этого мы не знаем. Приятель, о котором я говорил, заострил мою мысль до карикатуры: дескать, согласно Хогарту, человечество – горбун, который не знает, что можно жить без горба, и тысячелетиями выискивает в своем увечье знамение высшей необходимости; он примет любой ответ, за исключением одного: что это просто увечье, что никто не создал его горбатым из каких-то высших соображений, что горбатость его совершенно бесцельна – так уж сложились лабиринты и зигзаги антропогенеза.

Но я собирался говорить о себе, а не о человеческом роде. Не знаю, откуда она во мне, не знаю, что было ее причиной, но еще и теперь, через столько лет, я нахожу в себе все ту же несостарившуюся злость, ведь энергия наших архаических побуждений не старится. Это могут счесть эпатажем. Не один десяток лет я работал как ректификационная машина, производя дистиллят, то есть кипу научных трудов, которые, в свою очередь, породили кипу житийных повествований обо мне. Вы скажете, что нутро всей этой аппаратуры вам безразлично и я напрасно выволакиваю его на свет божий. Но имейте в виду: на безупречно чистой пище, которой я вас угощал, я вижу клеймо всех моих тайн.

Математика была для меня не блаженной страной, а скорее соломинкой, протянутой утопающему, храмом, в который я, неверующий, вошел потому, что здесь царил священный покой. Мой основной математический труд назвали разрушительным, и не случайно. Не случайно я нанес жестокий удар по основам математической дедукции и понятию аналитичности в логике. Я обратил оружие статистики против этих основ – и взорвал их. Я не мог быть одновременно дьяволом в подземелье и ангелом при солнечном свете. Я созидал, но на пепелищах, и прав Йовитт: я больше ниспроверг старых истин, чем утвердил новых.

Вину за этот негативный итог возложили на эпоху, а не на меня, ведь я появился уже после Рассела и Гёделя, – после того как первый из них обнаружил трещины в фундаменте хрустального дворца, а второй расшатал сам фундамент. Вот обо мне и говорили, что я действовал сообразно духу времени. Ну да. Но треугольный изумруд остается треугольным изумрудом, даже став человеческим глазом – в мозаичной картине.

Я не раз размышлял, что бы стало со мной, родись я внутри одной из четырех тысяч культур, именуемых примитивными, – в той бездне восьмидесяти тысяч лет, которая в нашем скудном воображении съеживается до размеров какой-то прихожей, зала ожидания настоящей истории. В некоторых из этих культур я бы зачах, зато в других – как знать? – проявил бы себя гораздо полней в роли вдохновенного пророка, творца обрядов и магических ритуалов – благодаря способности комбинировать элементы. В нашей культуре этому препятствует релятивизация всех категорий мышления; иначе я смог бы, пожалуй, свободно переводить стихию уничтожения и разнузданности в сакральную сферу. Ведь в архаических обществах действие обычных запретов периодически приостанавливалось – в культуре появлялся разрыв (культура была их опорой, фундаментом, абсолютом, и удивительно, как они догадались, что даже абсолют должен быть дырявым!); через этот разрыв уходила спекшаяся масса, которая ни в какой системе норм не помещалась и, скованная путами обычаев и запретов, лишь в малой доле проявлялась вовне – скажем, в масках свирепых воинов или масках духов предков.

Такое рассечение обыденных уз, освобождение от стеснительных предписаний было вполне разумным, рациональным; групповая одержимость, хаос, выпущенный на волю и подхлестываемый наркозом ритмов и ядов, служили предохранительным клапаном, через который уходили темные силы; благодаря этому удивительному изобретению варварские культуры были человеку «по мерке». Преступление, которое можно сделать небывшим; обратимое безумие; ритмично пульсирующий разрыв в социальном порядке, – все это осталось в прошлом, ныне все эти силы ходят в упряжке, тянут лямку, рядятся в костюм, который им тесен и неудобен, – и разъедают, как кислота, всякую повседневность, просачиваются всюду тайком, раз уж им нигде не позволено показаться без маски. Каждый из нас с малых лет вцепляется в какую-нибудь частичку своего Я, которая им выбрана, выучена, получила признание окружающих, и вот мы холим ее, лелеем, совершенствуем, души в ней не чаем; так что каждый из нас – частица, притязающая на полноту, жалкий обрубок, выдающий себя за целое.

Сколько я себя помню, мне всегда недоставало этики, выросшей из непосредственной впечатлительности. И я создал для себя ее суррогат, подыскав достаточно веские основания; ведь основывать заповеди на пустом месте – все равно что причащаться, не веря в Бога. Я, конечно, не расчислил вперед свою жизнь, исходя из каких-то теорий, и не подгонял под свое поведение – задним числом – какие-то аксиомы. Я действовал так бессознательно, а мотивы обнаружил потом.

Считай я себя человеком от природы добрым, вряд ли я постиг бы по-настоящему зло. Я считал бы, что зло творится только умышленно, по свободному выбору, так как в собственном опыте не нашел бы иных причин недостойного поведения. Но я уже кое-что знал – и свои склонности, и свою невиновность в них: я дан себе в своем единственном облике, и никто не спрашивал, согласен ли я на такой дар.

Так вот: допустить, чтобы один раб помыкал другим ради умиротворения сил, вложенных в них обоих, допустить, чтобы один безвинный мучил другого, если хоть как-то можно этому помешать, было бы для меня оскорблением разума. Мы даны себе такими, какие есть, и не можем отречься от этих даров, но, коль скоро открывается малейшая возможность взбунтоваться против такого порядка вещей, как не воспользоваться ею? Только такие решения и такие поступки я признаю исключительно нашим, человеческим достоянием, как и возможность самоубийства, – вот она, область свободы, в которой отвергается непрошеное наследство.

Только не говорите, будто я противоречу себе: дескать, только что я мечтал о пещерной эпохе, где мог бы развернуться вовсю. Познание необратимо, и нет возврата в сумрак блаженного неведения. В те времена я не имел бы знаний и не смог бы их получить. Ныне я их имею и должен использовать. Я знаю, что нас создавали и формировали случайности, – так неужели я буду покорным исполнителем всех приказов, вслепую вытянутых в неисчислимых тиражах эволюционной лотереи?!

Мое principium humanitatis[1 - основное начало человечности (лат.).] не вполне обычно: вздумай его применить к себе человек по природе добрый, ему пришлось бы, следуя принципу «преодоления собственной природы», причинять зло, чтобы утвердиться в сознании истинно человеческой свободы. Итак, мой принцип непригоден для всеобщего употребления, но я и не собирался предлагать этическую панацею для всего человечества. Непохожесть,

неодинаковость людей изначальна и неоспорима, поэтому кантовский постулат – что принцип, лежащий в основе поведения индивида, должен стать всеобщим законом, – налагает на людей неравное бремя. Индивидуальные ценности он приносит в жертву культуре как ценности высшей, а это несправедливо. Я также не думаю, будто человека можно считать человеком лишь постольку, поскольку упрятанное в нем чудовище он сам же связал по рукам и ногам. Я представил сугубо личные резоны, мою индивидуальную стратегию, которая, впрочем, ничего не изменила во мне. По-прежнему первой моей реакцией на известие о чьей-то беде остается мгновенная вспышка удовлетворения; я даже не пробую предупредить ее, отчаявшись добраться туда, где прячется это бездумное и бессмысленное хихиканье. Но я отвечаю сопротивлением и действую вопреки себе потому, что могу это делать.

Если б я действительно писал автобиографию – которая в сравнении с другими моими жизнеописаниями оказалась бы антибиографией, – мне не пришлось бы доказывать уместность подобных признаний. Но цель у меня другая. Вот событие, о котором я поведу речь: человечество столкнулось с чем-то, высланным в звездный мрак существами, отличными от нас, людей. Событие это, первое в нашей истории, думаю, стоит того, чтобы поведать, не стесняясь условностями, кто же, собственно, представлял человечество во встрече с Другими. Тем более что тут спасовала и моя гениальность, и моя математика, и плоды этой встречи оказались отравленными.

I

О Проекте «Глас Господа» существует огромная и гораздо более пестрая по своему составу литература, чем о Манхэттенском. Когда его рассекретили, на Америку и на весь мир обрушилась лавина статей, книг, брошюр; одна библиография составляет увесистый том размером с энциклопедию. Официальная версия изложена в докладе Белойна, позднее вышедшем в издательстве «American Library» десятимиллионным тиражом, а его квинтэссенция содержится в восьмом томе «Американской энциклопедии». О Проекте писали и другие люди, занимавшие в нем ведущие должности, например С. Раппопорт («Первая в истории межзвездная связь»), Т. Дилл («Глас Господа – я его слышал») и Д. Протеро («Проект ГЛАГОС – физические аспекты»). Книга Протеро, моего ныне покойного друга, – одна из самых обстоятельных, хотя принадлежит она, собственно, к разряду узкоспециальной литературы, где

объект исследования совершенно отграничен от личности исследователя.

Историко-научных разработок слишком много, чтобы их все перечислить. Четырехтомная монография Уильяма Ангерса («Хроника 749 дней») восхитила меня своей скрупулезностью – Ангерс добрался до всех бывших сотрудников Проекта и изложил их взгляды; но осилить ее я не смог – это было все равно что читать телефонную книгу.

Особый раздел составляют толкования Проекта – от философских и богословских до психиатрических. Их чтение меня утомляет и раздражает. Не случайно, я думаю, охотней всего рассуждают о Проекте те, кто в нем не участвовал.

Это напоминает отношение к гравитации или, допустим, к электронам культурной публики, читающей популярные книжки. Публике кажется, будто она что-то знает о том, о чем специалисты даже не решаются говорить. Информация из вторых рук всегда выглядит более стройно и убедительно, чем полные пробелов и неясностей сведения, которыми располагает ученый. Авторы-истолкователи втискивали факты в рамки своих убеждений, без пощады и колебаний отсекая все, что туда не влезало. Некоторые истолкования восхищают находчивостью и остроумием, но в целом эта разновидность литературы неуловимо переходит в графоманию на тему Проекта. Науку с самого начала окружало гало псевдонауки, этого порождения недоумков, и стоит ли удивляться, что ГЛАГОС – явление небывалое – вызвал в сумеречных умах усиленное и даже опасное брожение, вплоть до создания религиозных сект.

Количество информации, необходимое, чтобы хоть в общих чертах разобраться в проблематике Проекта, по правде сказать, превышает емкость мозга отдельного человека. Но неведение, которое охлаждает пыл у людей разумных, ни в коей мере не сдерживает дураков; поэтому в океане печатной продукции, порожденной Проектом ГЛАГОС, каждый отыщет кое-что для себя – если его не слишком интересует истина. Впрочем, о Проекте писали и особы, во всех отношениях почтенные. «Новое Откровение» преподобного Патрика Гординера хотя бы остается в ладах с логикой, чего никак не скажешь о «Послании Антихриста» отца Бернарда Пиньяна. Этот богобоязненный автор свел проблематику ГЛАГОСа к демонологии (с одобрения своих иерархов), а неудачу Проекта объяснил вмешательством Провидения. Он, похоже, принял всерьез название «Повелитель Мух», выдуманное участниками Проекта в шутку, – как

ребенок, уверенный, что названия звезд и планет написаны прямо на них, а астрономы читают их, глядя в свои телескопы.

Но что сказать о потопе сенсационных версий, об этих замороженных блюдах, готовых к немедленному употреблению и разве что не разжеванных, которые в своей целлофановой упаковке гораздо лучше на вид, чем на вкус. Одни и те же компоненты заправлены в них всякий раз новым, но непременно сказочно ярким соусом. Журнал «Look» сдобрил серию своих репортажей шпионско-политическим соусом (вложив мне в уста слова, которых я в жизни не говорил); в «Нью-Йоркере» продукт был изысканнее, с добавкой кое-каких философских вытяжек, а доктор медицины У. Шейпер изложил психоаналитическую трактовку событий в книге «Истинная история ГЛАГОСа», из которой я узнал, что действиями сотрудников Проекта руководило либидо, деформированное под влиянием новейшей – космической – мифологии секса. Доктор Шейпер обладает также точными сведениями о сексуальной жизни космических цивилизаций.

И почему это без водительских прав запрещено разъезжать по дорогам, а вот людям, начисто лишенным порядочности – о знаниях я и не говорю, – позволено печатать свои сочинения беспрепятственно и в любом количестве? Инфляция печатного слова отчасти вызвана экспоненциальным возрастанием количества пишущих, но издательской политикой – тоже. Детство нашей цивилизации было временем, когда читать и писать умели лишь избранные, по-настоящему образованные люди. Этот критерий сохранял силу и после изобретения книгопечатания; и хотя сочинения глупцов иногда издавались (тут ничего не поделаешь), их число еще не было астрономическим – не то что теперь. В разливе макулатуры тонут действительно ценные публикации: ведь легче отыскать одну хорошую книгу среди десяти никудышных, чем тысячу – среди миллиона. И неизбежным становится неумышленный плагиат – повторение где-то уже напечатанных мыслей.

Я и сам не уверен, что не повторяю сказанное кем-то до меня. В эпоху цивилизационного взрыва этот риск неизбежен. И если я решил изложить собственные воспоминания о работе в Проекте, то лишь потому, что ничто из прочитанного меня не удовлетворило. Не обещаю читателю «правду и только правду». Другое дело, если б наши усилия увенчались успехом… впрочем, тогда моя затея была бы ненужной: история поисков истины поблекла бы в свете самой истины как материального факта, вбитого в самую сердцевину цивилизации. Но поражение словно вернуло наши усилия к первоисточнику. Мы не разгадали загадку, и нет у нас ничего, кроме обстоятельств нашего

поражения. Это леса, а не постройка, процесс перевода, а не его результат. И это – единственное, с чем мы вернулись из похода за звездным золотым руном. Уже здесь я расхожусь с тональностью даже тех версий, которые сам назвал объективными, – начиная с доклада Белойна, – в них вообще нет слова «поражение». Разве не вышли мы из Проекта несравненно более богатыми, чем вошли в него? Новые разделы коллоидной физики, физики сильных взаимодействий, нейтринной астрономии, ядерной физики, биологии, а прежде всего новые знания о космосе – вот лишь первые проценты от нашего информационного капитала; а ведь он, уверяют специалисты, обещает прибыли и в дальнейшем.

Конечно. Но польза бывает разного рода. Муравьи, натолкнувшись на мертвого философа, быстренько им воспользуются. Мой пример вас шокирует? Именно этого я и хотел. Письменность с самого своего зарождения имела, казалось бы, единственного врага – ограничение свободы выражения мысли. И вот оказывается, что для мысли едва ли не опаснее свобода слова. Запрещенные мысли могут обращаться втайне, но что прикажете делать, если значимый факт тонет в половодье фальсификатов, а голос истины – в оглушительном гаме и, хотя звучит он свободно, услышать его нельзя? Развитие информационной техники привело лишь к тому, что лучше всех слышен самый трескучий голос, пусть даже и самый лживый.

Мне-то есть что сказать о Проекте, и все же я долго не решался сесть за письменный стол. Не имея желания увеличивать и без того огромный список публикаций, я ждал, что кто-нибудь, владеющий словом лучше меня, сделает эту работу, – но с течением времени понял, что не могу молчать. В самых серьезных трудах, посвященных Проекту, в самых объективных версиях, начиная с отчета комиссии Конгресса, отмечается, что мы не узнали всего; но если об успехах пишут охотно и много, то о неопознанном – почти ничего, и эта пропорция внушает мысль, будто мы исследовали весь Лабиринт, кроме нескольких – тупиковых или обвалившихся – проходов. А между тем мы даже порога не переступили. Обреченные до самого конца строить домыслы, мы лишь отколупнули несколько крошек от печатей у входа в него и, растерев их в руках, восхищались блеском, позолотившим нам кончики пальцев. О том, что кроется за печатями, мы ничего не знаем. А ведь одна из главнейших обязанностей ученого – определять не масштаб познанного (оно говорит само за себя), но размеры еще не познанного, незримого Атланта наших познаний.

Я не питаю иллюзий. Боюсь, что меня не услышат, потому что нет уже универсальных авторитетов. Разделение (а может быть, распадение) науки на специальности зашло далеко, и специалисты объявляли меня некомпетентным всякий раз, стоило мне ступить на их территорию. Давно было сказано, что специалист – это варвар, невежество которого не всесторонне. Мои пессимистические предвидения основаны на личном опыте.

Девятнадцать лет назад я вместе с молодым антропологом Максом Торнопом (трагически погибшим в автомобильной аварии) опубликовал работу, в которой доказал, что существует предел сложности для всех конечных автоматов, подчиненных гедонистически ориентированной программе (к ним относятся, в частности, все животные вместе с человеком). Эта программа основана на наказаниях и поощрениях, которые воспринимаются как страдание и наслаждение.

Мои расчеты показывают, что, если количество элементов регулирующего центра (мозга) превышает четыре миллиарда, в совокупности таких автоматов проявляется тяготение к крайним полюсам программы. При этом верх может взять один из предельных вариантов, а выражаясь более обыденным языком – садизм либо мазохизм; следовательно, их возникновение в процессе антропогенеза было неизбежно. Эволюция «согласилась» на такое решение, поскольку она оперирует статистическими величинами: для нее важно сохранение вида, а не дефектные состояния, недуги, страдания отдельных особей. Как конструктор, она выбирает приспособление к обстоятельствам, а не достижение совершенства.

Мне удалось доказать, что в любой человеческой популяции при условии полной панмиксии[2 - свободное скрещивание.] не более чем у 10 процентов особей будет наблюдаться достаточно уравновешенное гедонистически регулируемое поведение, а остальные будут отклоняться от нормы. Хоть я уже и тогда считался одним из лучших математиков в мире, влияние этой работы на антропологов, этнологов, биологов и философов оказалось равным нулю. Я долго не мог этого понять. Моя работа была не гипотезой, а формальным, следовательно, неопровержимым доказательством того, что некоторые свойства человека, над которыми веками ломали головы легионы мыслителей, – результат чистейшей статистической флуктуации, обойти которую при конструировании автоматов или организмов невозможно.

Позже, использовав превосходные материалы, собранные Торнопом, я распространил свое доказательство на процесс возникновения групповых этических норм. Однако и эту работу полностью игнорировали. Годы спустя, после бесчисленных дискуссий с гуманитариями, я понял: они не признали моего открытия потому, что оно их не устраивало. Стиль мышления, который я представлял, считался у них чем-то вроде безвкусицы, потому что не оставлял места для риторических препирательств.

Это было бестактно с моей стороны – делать выводы о природе человека с помощью математики! В лучшем случае мою затею называли «любопытной». А по существу, никто из гуманитариев не мог примириться с тем, что великую Тайну Человека, загадочные свойства его натуры можно вывести из общей теории автоматического регулирования. Конечно, они не говорили этого прямо. Тем не менее полученный мною результат вменили мне в вину. Я вел себя как слон в посудной лавке: то, перед чем спасовали антропология и этнография с их полевыми исследованиями, а также глубочайший философский анализ «природы человека», чего не удалось сформулировать в виде осмысленной проблемы ни в нейрофизиологии, ни в этологии[3 - наука о поведении животных.], что оставалось тучным заповедником вечно плодоносящих метафизик, психологии подсознания, психоанализа классического и лингвистического и бог весть каких еще эзотерических дисциплин, – я попытался рассечь, словно гордиев узел, своим доказательством в девять печатных страниц.

Они уже свыклись со своим высоким саном Хранителей Тайны, которую именовали Воспроизведением Архетипов, Инстинктом Жизни и Смерти, Волей к Самоуничтожению, Влечением к Небытию, а я, перечеркнув эти священные ритуалы какими-то группами преобразований и эргодическими теоремами, заявляю, что решение проблемы найдено! Вот почему ко мне относились с тщательно скрываемой антипатией: какой-то бесцеремонный профан посягнул на Загадку, попытался зацементировать ее вечно живые ключи, запечатать уста, находившие радость в задавании бесконечных вопросов; а так как моего доказательства опровергнуть не удалось, оставалось только его замалчивать.

Нет, во мне говорит не уязвленное самолюбие. Меня ведь превознесли до небес, правда, за другие работы – в области чистой математики. Этот опыт, однако, был весьма поучителен. Мы недооцениваем косность мышления во многих отраслях знаний. Психологически это вполне объяснимо. Сопротивление, которое наш ум оказывает статистическому подходу, в атомной физике куда меньше, чем в антропологии. Мы охотно принимаем непротиворечивую и

подтвержденную опытом статистическую модель атомного ядра. Мы не спрашиваем: «Ну а как все-таки атомы ведут себя на самом деле!» – но в науках о человеке нас такой подход не устраивает.

Вот уже сорок лет известно, что различие между благородным, добропорядочным человеком и маньяком-выродком сплошь и рядом зависит от расположения двух-трех пучков волокон серого вещества мозга и неосторожное движение ланцета, задевшего эти волокна чуть выше глазных впадин, способно превратить человека великой души в тупое животное. Но целые области антропологии – не говоря уж о философии – просто не принимают этого к сведению! Да и сам я не составляю тут исключения; все мы – ученые и профаны – скрепя сердце готовы признать, что наши тела с возрастом портятся; но дух?! Нам хотелось бы видеть его непохожим на механизм, в котором что-то может заесть. Нам подавай совершенство, хотя бы с обратным знаком, совершенство постыдное и греховное, только бы уйти от сатанинского объяснения, что человек есть игралище сил, абсолютно к нему равнодушных. А так как наша мысль движется по кругу, выбраться из которого невозможно, я признаю, что есть доля истины в памятных для меня словах одного из наших выдающихся антропологов. «Удовлетворение, с которым ты говоришь о своем доказательстве «лотерейности» природы человека, – заметил он мне, – не вполне бескорыстно; тут не одна только радость познания, а еще и удовольствие поглумиться над тем, что другому любезно и мило».

Вспоминая свою непризнанную работу, я не могу отделаться от невеселой мысли, что таких работ на свете, должно быть, немало. Залежи потенциальных открытий громоздятся на полках библиотек – в ожидании тех, кто мог бы их оценить.

Мы привыкли к ясной, простой ситуации, когда все непознанное и темное простирается перед сплошным фронтом науки, а все завоеванное и понятное служит ей тылом. Но по сути, безразлично, таится ли неведомое в лоне природы или погребено в каталогах никем не посещаемых книгохранилищ, – то, что не включено в кровообращение науки, не оплодотворяет ее, все равно что не существует. В любую эпоху способность науки воспринять радикально новый подход к явлениям не слишком-то велика. Сумасшествие и самоубийство одного из создателей термодинамики – лишь один из примеров тому[4 - Имеется в виду самоубийство Л. Больцмана (1844–1906).].

Кругозор науки, этого передового, как считается, отряда нашей культуры, ограничен исторически сложившимся переплетением множества факторов, среди которых первостепенную роль нередко играют стечения обстоятельств самого разного рода, возведенные в ранг нерушимых канонов методологии. Я завел об этом речь не случайно.

Наша культура плохо усваивает даже идеи, возникающие в ее же собственных рамках, но в стороне от главного русла, хотя и творцы, и отрицатели новых подходов – дети одного времени. Так можно ли рассчитывать, что мы сумеем понять совершенно чужую культуру, да еще отделенную от нас космическими просторами? Сравнение с армией букашек, которые извлекли бы немалую пользу, наткнувшись на мертвого философа, и тут кажется мне весьма подходящим. Пока такой встречи не было, мои суждения могли казаться крайностью, чудачеством. Но встреча произошла, а поражение, которое мы потерпели, сыграло в ней роль experimentum crucis[5 - решающий эксперимент (лат.).], стало доказательством нашей беспомощности – и этого результата не пожелали заметить! Миф об универсальности нашего познания, о нашей готовности принять и понять даже радикально иную, внеземного происхождения информацию остался непоколебимым, хотя, получив Послание со звезд, мы поступили с ним немногим лучше, чем дикарь, который, согревшись у костра из сочинений мудрейших умов, решил бы, что превосходно использовал свою находку.

Итак, рассказ об истории наших напрасных усилий может оказаться небесполезным – хотя бы для будущего исследователя Первого Контакта. Опубликованные сообщения, официальные реляции повествуют о так называемых успехах, то есть о приятном тепле, идущем от пылающих рукописей. О гипотезах, которые мы поочередно отбрасывали, в реляциях не сказано почти ничего. Я же говорил, что такой подход был бы позволителен, если б в конечном счете исследование отделилось от исследователей. Изучающих физику не засыпают сведениями о том, какие ошибочные, недостаточные гипотезы, какие ложные допущения предлагали ее творцы, как долго искал и заблуждался Паули, прежде чем правильно сформулировал свой принцип, сколько неверных идей перепробовал Дирак, прежде чем додумался до своих электронных «дыр». Но история проекта «Глас Господа» – это история поражения, история блужданий, за которыми не последовало спрямления дороги, и мы не вправе пренебрежительно зачеркивать бесконечные зигзаги пути – кроме них, у нас ничего не осталось.

С тех пор прошло много времени. Я долго ждал именно такой книги, как эта. Дольше я ждать не могу – по причинам чисто биологическим. Я располагал некоторыми заметками, сделанными сразу же после ликвидации Проекта. Почему я не делал их в ходе работы, станет понятно из дальнейшего. Об одном я хотел бы сказать ясно. Я не собираюсь возвышать себя за счет своих товарищей по Проекту. Мы очутились у подножия колоссальной находки до предела не подготовленные и до предела самоуверенные. Как муравьи, мы облепили ее – быстро, жадно, ловко и сноровисто. Я был одним из них. Это рассказ муравья.

II

Коллега по профессии, которому я показал вступление, заявил, что я очернил себя с умыслом – чтобы выступить потом в роли бесцеремонного правдолюбца; ведь тем, кого я не пощажу, трудно будет меня упрекать, раз уж я и себя не жалею. Это было сказано полушутя, но заставило меня задуматься. Такой коварный замысел мне и в голову не приходил; но я достаточно разбираюсь в душевной механике и понимаю, что подобные отговорки не имеют никакой цены. Возможно, замечание было справедливо. Возможно, мной руководила подсознательная хитрость: свою злобность я показал во всем ее безобразии, локализовал ее, стало быть, провел черту между нею и мною – но лишь на словах.

А между тем она, просочившись украдкой в мои «добрые намерения», все это время водила моим пером, и я лицемерил, как проповедник, который, громя прегрешения людские, находит тайное удовольствие в том, чтобы хоть говорить о них, если уж сам не смеет согрешить. В таком случае все становится с ног на голову и то, что я считал печальной необходимостью, продиктованной требованиями темы, оказывается главным побудительным мотивом, а сама тема, «Глас Господа», – не более чем удачным предлогом. Впрочем, схему подобного рассуждения – скажем так, «карусельного»: ведь оно образует замкнутый круг, где посылки и выводы меняются местами, – можно перенести и на саму проблематику Проекта. Наше мышление должно иметь дело с нерушимой совокупностью фактов, которая его отрезвляет и корректирует; а если такого корректора нет, оно грозит обернуться проецированием тайных пороков (или добродетелей, что одно и то же) на предмет исследования. Объяснение философских систем через различного рода недуги их творцов считается (я кое-что знаю об этом) занятием столь же тривиальным, сколь и непозволительным.

Но где-то на самом дне философии, которая постоянно пытается сказать больше, чем возможно в данное время, и «поймать мир» в готовую сетку понятий, прячется трогательная беззащитность, особенно заметная как раз у наиболее ярких мыслителей.

История человеческого познания – это ряд, имеющий в пределе бесконечность, а философия пытается до этого предела добраться одним прыжком, коротким замыканием, дающим уверенность в совершенном и непоколебимом знании. Тем временем наука движется мелким шагом, по-черепашьи, а то и вовсе, казалось бы, топчется на месте, но в конце концов добирается до последних рубежей, до окончательной границы разума, проведенной философами, и, не замечая никаких пограничных столбов, преспокойно идет себе дальше.

Ну разве могли философы не впасть в отчаяние? Одной из форм такого отчаяния был позитивизм с его весьма специфической агрессивностью: он выдавал себя за верного союзника науки, будучи, в сущности, ее ликвидатором. Надлежало подвергнуть примерному наказанию все то, что разъедало и подтачивало философию, обращая в ничто ее великие открытия, – и позитивизм, этот мнимый поборник науки, не замедлил вынести ей приговор, заявив, что наука в действительности ничего не может открыть, ведь она – всего лишь сокращенная запись опыта. Позитивизм попытался осадить науку, заставив ее признать свое бессилие во всем, что относится к области трансцендентного (что ему, впрочем, так и не удалось).

История философии есть история последовательных отступлений. Сначала она стремилась открыть абсолютные категории мироздания, потом – абсолютные категории разума, а тем временем, по мере накопления знаний, все яснее замечалась ее беспомощность. Ведь каждый философ поневоле объявлял себя самого абсолютным образцом человеческого рода и даже всех возможных разумных существ. Напротив, наука – это как раз трансценденция опыта, сокрушающая в прах вчерашние категории мышления; вчера пало абсолютное пространство и время, сегодня рушится якобы вечная противоположность между аналитическими и синтетическими суждениями, между предопределенностью и случайностью. Но почему-то ни одному из философов не приходило в голову, что не слишком благоразумно выводить из правил собственного мышления законы, действительные для всех людей и всего человечества – от эолита до эпохи угасания солнц.

Выражусь более резко: подставлять в умозаключения себя в качестве искомой общечеловеческой нормы – значит поступать безответственно. Стремление понять «все», на которое при этом ссылаются, имеет разве что психологическую ценность. Поэтому философия гораздо больше говорит о людских надеждах, страхах, влечениях, чем о тайнах абсолютно равнодушного к нам мироздания, которое лишь однодневкам кажется царством вечных и неизменных законов.

Даже если мы познали такие законы, которых никакой прогресс не отменит, мы не можем отличить их от тех, которые будут заменены другими. Поэтому в философах я видел лишь людей, движимых любопытством, а не глашатаев истины. Разве, формулируя тезисы о категорических императивах или об отношении мышления к восприятию, они начинали добросовестно расспрашивать бесчисленных представителей человеческого рода? Да нет же – они спрашивали себя и только себя, раз за разом короновали собственную персону, выдавая ее за образец человека разумного. Именно это возмущало меня и мешало читать даже самые глубокие философские сочинения: не успев открыть книгу, я натыкался на вещи, очевидные для автора, но не для меня; с этой минуты он обращался только к себе самому, рассказывал лишь о себе, на себя самого ссылался, а значит, утрачивал право высказывать суждения, истинные для меня и тем более – для всех остальных двуногих, населяющих нашу планету.

Как смешила меня, к примеру, уверенность тех, кто заявлял, будто нет иного мышления, кроме языкового! Эти философы не ведали, что сами они принадлежат к определенной разновидности человека разумного, а именно той, которая обделена математическими способностями. Сколько раз, пережив озарение новым открытием, запечатлев его в памяти неизгладимо, я часами искал для него языковую одежду, потому что оно родилось во мне вне всякого языка – естественного или формального.

Мысленно я назвал этот феномен «проступанием истины». Описать его невозможно. То, что проступает из толщи бессознательного и с трудом, постепенно отыскивает для себя слова, словно гнезда, – существует как целое прежде, чем осядет внутри этих гнезд. Но я не сумел бы даже намеком пояснить, в каком, собственно, облике предстает передо мной это бес- и предсловесное Нечто (которому предшествует острое ощущение, что ожидание не будет напрасным). У философа, который не пережил этого сам, какие-то важные механизмы мышления устроены иначе, чем у меня; при всем нашем видовом сходстве различие между нами больше, чем хотелось бы подобным

мыслителям.

И что же? Решая центральную проблему Проекта, мы очутились как раз в положении философа, со всей его беззащитностью и рискованностью его изысканий. Чем мы располагали? Загадкой и джунглями догадок. Мы выковыривали из загадки обломки фактов, но факты не стыковались, не складывались в прочный массив, способный корректировать наши догадки, и в конце концов мы терялись в чаще гипотез, громоздящихся на гипотезах. Наши конструкции становились все изобретательнее и смелее – и все больше отрывались от тылов, от добытых знаний. Мы готовы были все разломать, нарушить самые святые принципы физики или астрономии, лишь бы овладеть тайной. Так нам казалось.

Читателю, который, добравшись до этого места, все нетерпеливее ждет посвящения в тайну, заранее ощущая приятную дрожь, как перед фильмом ужасов, я советую отложить мою книгу, иначе он будет разочарован. Я не пишу авантюрный роман, а рассказываю, как наша культура была подвергнута экзамену на космическую (или хотя бы не только земную) универсальность и что из этого вышло. С самого начала моей работы в Проекте я считал его именно таким пробным камнем независимо от того, какой пользы ждали от наших усилий.

Тот, кто следит за ходом моей мысли, возможно, заметил, что, перенося проблему «карусельного мышления» с отношений между мной и моей темой на саму эту тему (то есть на отношения между исследователями и «Гласом Господа»), я отчасти выпутался из щекотливого положения, настолько расширив упрек в «затаенных побудительных мотивах», что в нем уместился весь Проект. Но как раз таково и было мое намерение – еще до того, как я выслушал критические замечания. С известным преувеличением, необходимым, дабы подчеркнуть суть моей мысли, могу сказать, что в ходе работы (затрудняюсь определить, когда именно) я начал подозревать, что звездное Послание для нас, стремящихся его разгадать, стало чем-то вроде психологического теста на ассоциации, например, предельно усложненного теста Роршаха. Испытуемый видит в цветных пятнах ангелов или зловещих птиц, ибо он проясняет неясное, руководствуясь тем, что у него «на душе», – так и мы за завесой непонятных значков угадывали нечто, содержавшееся лишь в нас самих.

Это подозрение мешало мне работать, да и теперь заставляет меня пускаться в объяснения, которых лучше бы избежать. Тем не менее я решил, что ученый,

оказавшийся в столь затруднительном положении, уже не может считать свои профессиональные знания чем-то вроде железы или жвала, изолированных от всего организма, а значит, не вправе утаивать свои сокровенные проблемы, даже самые постыдные. Ботанику, занятому систематикой каких-нибудь лютиков, довольно затруднительно проецировать на объект изучения собственные фантомы, видения, а то и постыдные страстишки. Положение исследователя-мифолога опаснее: сам выбор материала исследования, возможно, расскажет нам не столько о структурных инвариантах архаических мифов, сколько о том, что преследует мифолога в сновидениях и – безотносительно ко всякой науке – наяву.

А нам пришлось пойти еще дальше, сделать поистине головоломный шаг: ведь нас подстерегала та же опасность, но в несравненно большем, небывалом масштабе. Так что никто из нас не знает, в какой мере мы были орудиями объективного анализа, в какой – типичными для своей эпохи представителями человечества и в какой, наконец, каждый из нас представлял только самого себя и черпал гипотезы о смысле Послания из собственной – возможно, травмированной или сумеречной – психики, из ее не контролируемых сознанием глубин.

Подобные опасения многие из моих коллег считали чепухой. Правда, они выражались иначе, но смысл был именно таков.

Я их прекрасно понимаю. Проект был прецедентом, в котором, как в матрешке, скрывались другие прецеденты, с той только разницей, что никогда доселе физики, технологи, химики, ядерщики, биологи, информационщики не располагали таким предметом исследований, который не был чисто материальной, то есть природной, загадкой, а был Кем-то умышленно создан и послан – причем Отправитель должен был приноравливаться к неведомым адресатам. Ученые воспитаны на «игре с Природой», которая никак не является сознательным противником; они не допускают возможности, что за исследуемым объектом на самом деле стоит Кто-то и что понять объект можно лишь в той мере, в какой удастся постичь ход рассуждений этой – совершенно нам неизвестной – сознательной первопричины. Так что, хотя они знали и даже говорили, что Отправитель реален, весь их жизненный опыт, их профессиональная выучка говорили им обратное.

Физику и в голову не придет, что Кто-то нарочно расположил электроны на орбитах так, чтобы люди ломали себе голову над их конфигурациями. Он

прекрасно знает, что гипотеза о Создателе Орбит в физике абсолютно излишня, более того, недопустима. Но в Проекте недопустимое оказалось реальным, а физика в обычном своем виде стала непригодной; это было прямо-таки пыткой. Сказанного, я уверен, довольно, чтобы понять, что мое положение в Проекте было достаточно обособленным (разумеется, в общем, теоретическом смысле, а не в смысле административно-иерархическом).

Меня упрекали в «недостаточной конструктивности»: я всегда готов был вставить словечко в ход чужих рассуждений, в результате в них что-то заклинивалось, и они останавливались; сам же я предложил не слишком много конструктивных идей, «с которыми можно что-нибудь сделать». Впрочем, Белойн в своем отчете отзывается обо мне как нельзя лучше. Надеюсь, это не только дань дружбе, связывающей нас: возможно, известную роль сыграло положение (не только административное), которое он занимал. В каждой исследовательской группе Проекта взгляды ее участников после некоторого периода колебаний приходили к какому-то общему знаменателю; но те, кто заседал (как Белойн) в Научном Совете, хорошо видели, что мнения разных групп нередко диаметрально противоположны. Впрочем, организационную структуру Проекта с ее изолированными друг от друга группами я считал вполне разумной – она предотвращала появление «эпидемий ошибок». У такого информационного карантина были свои отрицательные стороны… но я начинаю вдаваться в подробности – и преждевременно. Значит, пора переходить к изложению событий.

III

Когда Блейдергрен, Немеш и группа Шигубова открыли инверсию нейтрино, возник новый раздел астрономии – нейтринная астрофизика. Она сразу сделалась необычайно модной, и во всем мире начались исследования космических нейтринных потоков. Маунт-Паломарская обсерватория одной из первых установила у себя регистрирующую аппаратуру, высоко автоматизированную и с наилучшей по тем временам разрешающей способностью. К этой установке – нейтринному инвертору – выстроилась целая очередь исследователей, и у директора обсерватории (им был тогда профессор Райан) было немало хлопот с астрофизиками, особенно молодыми: каждый считал, что его заявка должна стоять первой в списке.

Среди таких молодых счастливчиков оказались Хейлер и Махоун, оба очень честолюбивые и довольно способные (я был с ними знаком, хотя и отдаленно). Они регистрировали максимумы нейтринного излучения в определенных участках неба, пытаясь обнаружить так называемый эффект Штеглица (Штеглиц был немецким астрономом старшего поколения).

Однако этот эффект (нейтринный аналог «красного смещения» фотонов) обнаружить не удавалось. Как выяснилось несколько лет спустя, теория Штеглица была ошибочной. Но молодые люди об этом знать не могли и сражались, как львы, чтобы у них не отняли установку; благодаря своей предприимчивости они держали ее почти два года – так и не получив никаких результатов. Целые километры регистрационных лент пополнили архив обсерватории. Несколько месяцев спустя значительная их часть попала в руки смекалистого, хоть и не очень одаренного физика – собственно говоря, недоучки, изгнанного из какого-то малоизвестного университета на Юге за аморальное поведение; дело не дошло до суда, потому что в нем было замешано несколько важных особ. Этот недоучившийся физик, по фамилии Свенсон, получил ленты при невыясненных обстоятельствах. Позже его даже допрашивали, но ничего не дознались – он непрерывно менял показания.

Это был любопытный субъект. Он подвизался в качестве поставщика материалов, а заодно – банкира и духовного утешителя бесчисленных маньяков, которые прежде мучились разве что над перпетуум-мобиле и квадратурой круга, а ныне бредят «целительными энергиями», теориями космогенеза и промышленным применением телепатии. Такому народу недостаточно карандаша и бумаги; для конструирования «орготронов», обнаружителей «сверхчувственных флюидов», электрических магических прутьев, что сами находят воду, нефть и сокровища (обычные ивовые водоискатели давно уже стали анахронизмом), – для всего этого необходимы самые разные, нередко труднодоступные и дорогие материалы. Свенсон – за соответствующую сумму – умел раздобыть их даже из-под земли. Поэтому его посещали парафизики и оргонисты, конструкторы телепаторов и духотронов (для устойчивой связи с духами). Вращаясь в этих нижних провинциях царства науки – там, где оно смыкается с царством психиатрии, – он, как бы то ни было, поднабрался весьма полезных для него сведений; у него был изумительный нюх на то, что в данный момент пользуется наибольшим спросом у слегка свихнувшихся титанов духа.

Не брезговал он и более прозаическим заработком – например, поставлял небольшим химическим лабораториям реактивы неясного происхождения – и

вечно привлекался за что-то к суду, хотя в тюрьму не попал ни разу, балансируя на самой грани законности. Такие люди всегда меня занимали. Насколько я понимаю, Свенсон не был ни чистым мошенником, ни циником, который наживается на чужих маниях, хотя ему хватало ума, чтобы знать, что львиная доля его клиентов никогда не реализует своих идей. О некоторых он заботился и поставлял им оборудование в кредит, даже если платежеспособность должника представлялась весьма сомнительной. Как видно, он питал к своим питомцам такую же слабость, как я – к людям его типа. Хорошо обслужить клиента он считал делом чести, и, если клиент непременно требовал кость носорога (потому что аппарат, сооруженный из кости любого другого животного, был бы глух к голосу духов), Свенсон никогда не подсовывал ему воловью либо баранью кость; во всяком случае, так мне рассказывали.

Получая, а может, и покупая у неизвестного лица ленты, Свенсон преследовал определенную цель. Он достаточно разбирался в физике, чтобы знать, что на лентах записан «чистый шум», и додумался использовать их для составления лотерейных таблиц. Эти таблицы, серии случайных чисел, необходимы в исследованиях различного типа; изготовляют их с помощью вычислительных машин или вращающихся дисков – на края этих дисков нанесены цифры, которые вылавливает беспорядочно вспыхивающая точечная лампа. Есть и другие способы. Взявшийся за эту работу часто оказывается в затруднительном положении. Серии чисел редко получаются «достаточно случайными»; тщательный анализ выявляет более или менее явные закономерности в чередовании чисел: в длинных сериях некоторые числа «склонны» появляться чаще других, а такая таблица теряет смысл. Не так-то просто создать абсолютный хаос, хаос в чистом виде. Между тем спрос на таблицы случайных чисел не уменьшается. Поэтому Свенсон рассчитывал заработать на этом деле; таблицы он печатал с помощью шурина – линотиписта в типографии какого-то университета, а покупателям рассылал их по почте, без посредничества книготорговцев.

Один из экземпляров попал в руки некоего Ф. Д. Сэма Лейзеровица, субъекта столь же сомнительного и не менее предприимчивого, но в каком-то смысле идеалиста, думавшего не только о деньгах. Он был членом, а нередко и учредителем многих, непременно эксцентричных организаций, вроде Лиги исследования летающих тарелок, и не раз попадал в переплет, когда при ревизии обнаруживалась, неведомо почему, недостача; но в злоупотреблениях ни разу уличен не был. Возможно, его подводила беспечность.

Он не получил физического образования и не имел права называться доктором физики, но когда ему на это указывали, заявлял, что буквы «Ф.Д.» означают лишь имена, которыми он подписывает свои статьи, – Филипп и Дуглас. Действительно, под именем «Ф. Д. Сэм Лейзеровиц» он публиковался в различных научно-фантастических журналах, а также был известен среди любителей этого жанра как автор «космических» докладов и сообщений на многочисленных съездах и конференциях. Его специальностью были сенсационные открытия – не меньше двух-трех в год. Он основал музей диковин, якобы оставленных пассажирами Летающих Тарелок на территории Штатов, – там был, среди прочих, обритый, зеленого цвета обезьяний зародыш в спирту; я видел его фотографию. Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами.

Лейзеровиц был также соавтором книги о заговоре, устроенном правительствами великих держав, которые нарочно утаивают информацию о высадке Тарелок и контактах видных политиков с посланцами иных планет. Собирая всевозможные, более или менее вздорные сведения об «инопланетянах», он напал на след регистрационных лент из Маунт-Паломар и добрался до их обладателя, Свенсона. Тот отдал их не сразу, однако не устоял перед убедительным аргументом в виде трехсот долларов – как раз тогда какой-то состоятельный чудак облагодетельствовал один из «космических фондов».

Вскоре Лейзеровиц опубликовал ряд статей под кричащими заголовками, извещая, что на маунт-паломарских лентах отдельные участки шума разделены «зонами молчания» – причем шумы и пропуски складываются в точки и тире азбуки Морзе. В последующих, все более сенсационных сообщениях он уже ссылался на Хейлера и Махоуна как на авторитетных астрофизиков, которые якобы подтверждают подлинность его утверждений. Эти заметки перепечатали несколько провинциальных газет; взбешенный Хейлер послал им опровержение, из которого следовало, что Лейзеровиц – полнейший невежда (откуда «инопланетянам» знать азбуку Морзе?), что его Общество по космическим контактам – чистое жульничество, а так называемые «зоны молчания» означают лишь то, что регистрирующую установку время от времени выключали. Но Лейзеровиц не был бы Лейзеровицем, если б спокойно снес такую отповедь; он стоял на своем, а доктора Хейлера включил в черный список «недругов космического контакта», где уже фигурировало немало светлых голов, имевших несчастье опрометчиво выступить против его открытий.

Между тем вне связи с этой историей, получившей некоторую огласку в прессе, произошло событие действительно странное. Доктор Ральф Лумис, статистик по образованию, имевший собственное агентство по исследованию общественного мнения (чаще всего по заказам небольших торговых фирм), направил Свенсону рекламацию, утверждая, что почти треть очередного издания свенсоновских таблиц абсолютно точно копирует серию, опубликованную в первом издании. Тем самым он давал понять, что Свенсон, не утруждая себя, перекодировал «шум» в цифры всего один раз, а затем механически копировал результат, кое-где меняя порядок страниц. Свенсон, совесть которого была чиста (по крайней мере в этом деле), отверг претензии Лумиса и, возмущенный до глубины души, ответил ему довольно резким письмом. Теперь уже Лумис счел себя оскорбленным и к тому же обманутым и передал дело в суд. Свенсона приговорили к штрафу за оскорбление личности, а новую серию таблиц суд признал мошенническим повторением первой. Свенсон подал апелляцию, но пять недель спустя отказался от нее и, заплатив наложенный на него штраф, бесследно исчез.

Канзасская «Морнинг Стар» поместила несколько корреспонденций о деле Лумиса против Свенсона – сезон был летний, и ничего интереснее не подвернулось. Один такой репортаж прочитал по дороге на службу доктор Саул Раппопорт из Института высших исследований (как он мне сказал, он нашел газету на сиденье в метро – сам бы он никогда ее не купил).

Это был субботний, расширенный выпуск, и, чтобы как-то заполнить место, кроме судебного отчета газета поместила еще и интервью с Лейзеровицем о «братьях по Разуму», а рядом – гневное опровержение доктора Хейлера. Так что Раппопорт мог ознакомиться во всем объеме с этой диковинной, хотя и мелкой с виду аферой. Когда он отложил газету, в голову ему пришла сумасшедшая, прямо-таки комичная мысль. Лейзеровиц, конечно, несет чушь, и «зоны молчания» – никакой не сигнал; но на лентах действительно может быть записано сообщение – если сообщением окажется шум!

Мысль, повторяю, была сумасшедшая, но преследовала его неотвязно. Поток информации – например, человеческая речь – не всегда воспринимается как информация, а не хаотический набор звуков. Речь на чужом языке часто кажется совершенно бессмысленной. А для непонимающего есть один только способ опознать нешумовую природу сигнала: в подлинном шуме серии сигналов не повторяются. В этом смысле «шумовой серией» будет тысяча чисел, которые выбрасывает рулетка. Появление точно такой же серии – в следующей тысяче

игр – совершенно исключено. В том-то и состоит природа «шума», что очередность появления его элементов – звуков или других сигналов – непредсказуема. Если же серии повторяются, значит, «шумовой» характер явлений – лишь кажущийся, и на самом деле перед нами устройство, передающее информацию.

Доктор Раппопорт подумал, что Свенсон, быть может, и не лгал на суде; что он не копировал одну-единственную ленту, а в самом деле поочередно использовал записи, сделанные за долгие месяцы. Если допустить, что излучение было сигнализацией и сообщение, закончившись, передавалось сначала, получилось бы именно то, на чем настаивал Свенсон: новые ленты запечатлели бы одинаковые серии импульсов и эта повторяемость доказывала бы, что их «шумовое обличье» – лишь видимость!

Это было в высшей степени неправдоподобно, однако возможно. Раппопорт, вообще-то любивший спокойную жизнь, проявлял необыкновенную предприимчивость и энергию, когда его посещали подобные озарения. Газета поместила адрес доктора Хейлера, и связаться с ним не составляло труда. Прежде всего нужно было заполучить ленты. Поэтому он написал Хейлеру, однако не упоминая о своей догадке – слишком фантастической она выглядела, – а лишь осведомляясь, нельзя ли получить ленты, оставшиеся в архиве обсерватории. Хейлер, раздосадованный тем, что его приплели к афере Лейзеровица, отказал. Вот тогда-то, похоже, Раппопорт по-настоящему загорелся и написал прямо в обсерваторию. Он был достаточно известен в научных кругах и вскоре получил целый километр лент. Ленты он передал своему другу, доктору Хаувицеру, чтобы тот в своем вычислительном центре исследовал их с точки зрения распределения частотности элементов, то есть предпринял дистрибутивный анализ.

Уже на этой стадии проблема была гораздо сложнее, чем я ее здесь излагаю. Информация тем больше напоминает чистый шум, чем полнее передатчик использует пропускную способность канала связи. Если она использована полностью (избыточность сведена к нулю), то для непосвященного сигнал ничем не отличается от чистого шума. Как я уже говорил, в кажущемся «шуме» можно выявить информацию, если сообщение циклически повторяется и разные записи можно сравнить. Это и собирался сделать Раппопорт, передавая ленты Хаувицеру для обработки. Хаувицеру он тоже не стал открывать всей правды, стремясь держать дело в тайне; к тому же, окажись его догадка ошибочной, никто бы о ней не узнал. Раппопорт не раз рассказывал об этом забавном начале

истории, которая кончилась ничуть не забавно, и даже хранил, как реликвию, номер газеты, натолкнувшей его на судьбоносную мысль.

Хаувицер был загружен работой и не спешил затевать трудоемкий и непонятно для чего нужный анализ; так что пришлось посвятить его в тайну. Он поднял Раппопорта на смех, но все же не устоял перед страстными уговорами приятеля и обещал помочь.

Несколько дней спустя, когда Раппопорт вернулся в Массачусетс, Хаувицер встретил его известием об отрицательном результате анализа. Раппопорт – я слышал об этом от него – готов уже был отступиться, однако, задетый насмешками друга, начал с ним спорить. Ведь нейтринное излучение одного квадрата небосвода, сказал он, это целый океан, растянутый по гигантскому спектру частот, и, если даже Хейлер с Махоуном, прочесывая его однажды, совершенно случайно выхватили обрывок осмысленной передачи, было бы просто чудом, если бы такое везение выпало им еще раз. Следовательно, нужно раздобыть ленты, которыми завладел Свенсон.

Хаувицер с ним согласился, однако заметил, что при рассмотрении альтернативы «звездное Послание» или «мошенничество Свенсона» ее второй член обладает вероятностью в миллионы раз большей. И добавил, что получение лент мало что даст: Свенсон, чтобы облегчить себе защиту в суде, мог просто скопировать исходную запись, а копию выдать за еще один оригинал.

Раппопорт не нашелся что ответить, но у него был знакомый – специалист по аппаратуре, предназначенной для полуавтоматической регистрации длинных серий сигналов; он позвонил ему и спросил, можно ли ленты, на которых зарегистрированы некие естественные процессы, отличить от лент, на которых та же самая запись воспроизведена вторично (то есть велико ли различие – если оно вообще существует – между оригиналом и копией регистрации). Оказалось, что отличить одно от другого возможно. Тогда Раппопорт обратился к адвокату Свенсона и через неделю располагал уже полным комплектом лент. По заключению эксперта, все они оказались оригиналами, так что Свенсон не был повинен в мошенничестве – передача действительно периодически повторялась.

Раппопорт не сообщил об этом ни Хаувицеру, ни адвокату Свенсона, но в тот же день – точнее, в ту же ночь – вылетел в Вашингтон; отлично представляя, как безнадежны попытки форсировать бюрократические препоны, он направился прямо к Мортимеру Рашу, советнику президента по вопросам науки, бывшему

директору НАСА, которого знал лично. Раш, физик по образованию и ученый действительно высокого класса, принял его, несмотря на позднее время. Раппопорт три недели ждал в Вашингтоне его ответа. Тем временем ленты изучались все более крупными специалистами.

Наконец Раш пригласил Раппопорта на совещание с участием всего девяти человек; среди них были светила американской науки – физик Дональд Протеро, лингвист Айвор Белойн, астрофизик Тайхемер Дилл и математик-информационщик Джон Бир. Минуя формальности, было решено создать специальную комиссию для изучения «нейтринного послания со звезд», которое, по полушутливому предложению Белойна, получило обозначение «ГЛАС ГОСПОДА» (MASTER’S VOICE). Раш попросил участников совещания соблюдать секретность, разумеется, лишь временную, – он опасался, что пресса поднимет шум, а если Послание станет предметом политических интриг в конгрессе (где положение Раша как представителя резко критикуемой администрации было шатким), это лишь затруднит получение необходимых ассигнований.

Казалось бы, делу был придан максимально разумный ход, но совершенно неожиданно в него вмешался несостоявшийся доктор физики Ф. Д. Сэм Лейзеровиц. Из отчетов о процессе Свенсона он уразумел лишь одно: судебный эксперт ни словом не упомянул, что «зоны молчания» на лентах вызваны периодическим выключением аппаратуры. Тогда он отправился в Мелвилл, где проходил процесс, и в гостинице подкараулил адвоката Свенсона, чтобы заполучить ленты, которые, по его мнению, должны были попасть в музей космических раритетов. Адвокат ему отказал как недостаточно солидному человеку. Тогда Лейзеровиц, который во всем усматривал «антикосмические заговоры», нанял частного детектива, устроил слежку за адвокатом и выяснил, что какой-то человек – не из местных – приехал в Мелвилл утренним поездом, заперся с адвокатом в гостиничном номере, получил от него ленты и увез их в Массачусетс.

Человеком этим был доктор Раппопорт. Лейзеровиц послал своего детектива по следам ни о чем не подозревавшего Раппопорта, а когда тот объявился в Вашингтоне и несколько раз побывал у Раша, Лейзеровиц решил, что пришло время действовать. Его статья, появившаяся в «Морнинг Стар» и перепечатанная в одной из вашингтонских газет, огорошила пионеров Проекта, особенно Раша. В ней под достаточно громким заголовком сообщалось, что чиновники самым гнусным образом пытаются похоронить великое открытие – как в свое время при помощи официальных сообщений командования ВВС были похоронены НЛО

(пресловутые Летающие Тарелки).

Лишь тогда Раш понял, что могут последовать международные осложнения – если кто-то решит, что Америка пытается скрыть от всего мира установление контактов с космической цивилизацией. Правда, статья его не очень беспокоила – ее несолидный тон дискредитировал и самого автора, и его утверждения; Раш, как человек весьма сведущий в практике паблисити, полагал, что, если хранить молчание, шумиха вскоре утихнет сама собой.

Однако Белойн решил совершенно частным образом встретиться с Лейзеровицем, поскольку – как он мне сам говорил – просто пожалел этого маньяка космических контактов. Он думал, что, если с глазу на глаз предложить ему какую-нибудь второстепенную должность в Проекте, все уладится. Но шаг этот, хотя и продиктованный самыми лучшими намерениями, оказался легкомысленным. Белойн, который не знал Лейзеровица, на основании букв «Ф.Д.» решил, что имеет дело с ученым – пусть даже тот слегка свихнулся, гонится за рекламой и зарабатывает на жизнь сомнительными способами, – но все же коллегой, ученым, физиком. А увидел он взбудораженного человечка, который, услыхав о реальности звездного Послания, заявил с истерической наглостью, что ленты, а значит, и само Послание – его частная собственность, которую у него украли, и под конец довел Белойна до бешенства. Видя, что от Белойна он ничего не добьется, Лейзеровиц выскочил в коридор, там начал кричать, что пойдет в ООН, в Трибунал по защите прав человека, а потом нырнул в лифт и оставил Белойна наедине с невеселыми раздумьями.

Поняв, что он натворил, Белойн тотчас отправился к Рашу и все ему рассказал. Раш не на шутку испугался за судьбу Проекта. Хотя вероятность того, что Лейзеровица где-нибудь захотят выслушать, была ничтожна, совершенно исключить это было нельзя, а перекочевав из бульварной в серьезную прессу, дело неизбежно приняло бы политическую окраску.

Посвященные отлично представляли себе, какой поднимется крик: Соединенные Штаты, дескать, пытаются присвоить себе достояние всего человечества. Правда, Белойн полагал, что положение можно исправить, опубликовав краткое полуофициальное сообщение, но Раш не имел на это полномочий и не собирался их добиваться: мол, вопрос еще недостаточно ясен и правительство, даже если бы и хотело, не вправе выносить его на международный форум, рискуя своим авторитетом, – во всяком случае, до тех пор, пока наши догадки не будут подтверждены предварительными исследованиями. Дело было деликатное, и

Раш решил обратиться к своему знакомому, Баррету, лидеру демократического меньшинства в сенате. Тот, посоветовавшись со своими людьми, хотел было подключить ФБР, но там некий видный юрист заключил, что космос, расположенный вне границ США, не входит в компетенцию его ведомства, а подлежит ведению ЦРУ вместе с прочими заграничными делами.

Тем самым было положено начало уже необратимому процессу, хотя его плачевные последствия сказались не сразу. Раш, стоявший на рубеже науки и политики, не мог не догадываться, к чему ведет препоручение Проекта подобным опекунам, поэтому он попросил своего сенатора повременить еще сутки и послал своих доверенных лиц к Лейзеровицу, чтобы те его вразумили. Лейзеровиц не только оказался глух к уговорам, но и закатил посланцам грандиозный скандал, который закончился потасовкой и вмешательством полиции, вызванной персоналом отеля.

Вскоре прессу наводнили совершенно фантастические, или, вернее, бредовые, сообщения о «двоичных» и «троичных» зонах молчания, посылаемых на Землю из космоса, о световых феноменах, о высадке маленьких зеленых человечков в «нейтринной одежде» и тому подобные бредни, в которых сплошь и рядом ссылались на Лейзеровица, именуя его уже профессором. Но не прошло и месяца, как «знаменитый ученый» оказался параноиком и был отправлен в психиатрическую лечебницу. К сожалению, на этом история Лейзеровица не закончилась. Даже в серьезные, большие газеты проникли отголоски его фантасмагорической борьбы (он дважды бежал из клиники, причем во второй раз – уже безвозвратно – через окно девятого этажа), – борьбы за истинность своего открытия, столь безумного в свете фактов, преданных огласке, и столь поразительно близкого к правде. Сознаюсь, меня пробирает дрожь, когда я вспоминаю этот эпизод предыстории Проекта.

Как легко догадаться, поток сообщений, с каждым днем все более бессмысленных, был просто отвлекающим маневром, делом рук многоопытных профессионалов из ЦРУ. Отрицать всю историю, опровергать ее, да еще на страницах серьезных газет, означало бы как раз привлечь к ней внимание самым нежелательным образом. А вот показать, что речь идет о бреднях, утопить зерно истины в лавине несуразных вымыслов, приписанных «профессору» Лейзеровицу, – это было очень ловко придумано, тем более что всю эту акцию увенчала лаконичная заметка о самоубийстве безумца; своим неподдельным трагизмом оно окончательно пресекало всякие сплетни.

Судьба этого фанатика была поистине страшной, и я не сразу поверил, что его безумие, его последний шаг из окна в девятиэтажную пустоту не были подстроены; однако в этом меня убедили люди, которым я не могу не верить. Так или иначе, уже над заголовком нашего гигантского предприятия была оттиснута signum temporis – печать времени, в котором, пожалуй, как никогда ранее, омерзительное соседствует с возвышенным; прежде чем кинуть нам в руки этот великий шанс, случайный поворот событий раздавил, как букашку, человека, который, хоть и вслепую, первым подошел к порогу открытия.

Если не ошибаюсь, посланцы Раша сочли его полоумным уже тогда, когда он отказался принять крупную сумму за отказ от своих притязаний. Но в таком случае я и он были одной веры, только принадлежали к разным ее орденам. Если бы не та большая волна, которая его захлестнула, Лейзеровиц, конечно, мог бы жить припеваючи, без помех занимаясь летающими тарелками и прочими загадками бытия в качестве безвредного маньяка, ведь таких людей полно; но видеть, как у него отбирают то, что он считал своим заветнейшим достоянием, отнимают открытие, которое изменит историю человечества, – этого он не выдержал, это словно взорвало его изнутри и толкнуло к погибели. Не думаю, что его память следует почтить лишь язвительным комментарием. У каждого великого дела есть свои комичные или до жалости тривиальные стороны, но отсюда не следует, будто они никакого отношения к нему не имеют. Впрочем, комичность – понятие относительное. Надо мною тоже смеялись, когда я говорил о Лейзеровице то, что говорю здесь.

Из актеров пролога больше всего, пожалуй, повезло Свенсону, потому что он удовлетворился деньгами. И штраф за него заплатили (только не знаю, кто это сделал, – ЦРУ или начальство Проекта), и щедро вознаградили за моральный ущерб – разумеется, сняв с него незаслуженное обвинение в мошенничестве; тем самым его отговорили от подачи апелляции. И все это для того, чтобы Проект мог спокойно разворачивать свою деятельность – в безоговорочно предрешенной изоляции.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

основное начало человечности (лат.).

2

свободное скрещивание.

3

наука о поведении животных.

4

Имеется в виду самоубийство Л. Больцмана (1844–1906).

5

решающий эксперимент (лат.).

Купить: https://tellnovel.com/ru/stanislav-lem/glas-gospoda

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить